

Все привольное Семитомие

Марина Цветаева. Собрание сочинений в семи томах.
М., Эллис Лак, 1994—1995

Сегодня -
1996. 31 янв.
с. 10.

Андрей Немзер

М

онумент воздвигнут. Старательские десятилетия Анны Саакянц и Льва Мнухина увенчались семью тяжелыми томами. Более представительного корпуса творений Цветаевой еще не было. И не скоро будет. При всех последующих оговорках должно с благодарностью констатировать: обратившись к этому изданию, читатель получает достаточно адекватное представление о великом поэте, а исследователь избавляется от некоторого количества затруднений. Завершилась эпоха, заря которой взошла в 1961 году, забываемым «Избранным». Составители вправе облегченно вздохнуть, хотя, как сказано в предисловии, «семитомник не может <...> претендовать ни на строгую научность, ни на исчерпывающую полноту. Единственная и главная причина того и другого — закрытость архива Марины Цветаевой до начала будущего века».

Обсуждение проблем секретности далеко нас заведет: здесь полицейские традиции советчины переплетаются с повсеместно сущей (отвратительной) борьбой многих «единственных наследников (хранителей, толкователей)» за монопольное владение сокровищем. На то оно и «сокровище», чтобы укрываться от непосвященных чужаков: дай им волю — излапают, ополчат, осквернят святыню. Границу между «своими» и «чужими» всяк, понятное дело, устанавливает по-своему: в таких дискуссиях научные и просветительские задачи никнут под палящим солнцем взаимной неприязни конкурентов. Отодвинем архивный вопрос в сторону: «главная» причина не может быть «единственной» — по определению. Взглянем на семитомник.

Стихотворения (тт. 1—2) расположены хронологически. Потери при таком подходе очевидны (разрушаются структуры авторских сборников), но выигрыш куда существеннее: наглядны эволюционная динамика и единство творческого мира, что в случае лирика по преимуществу, Цветаевой, органически не приемлющей разделение Dichtung и Wahrheit, пожалуй, особенно важно. «Политика» «Лебединого стана» и «театральность» русских и европейско-романтических «стилизаций» движимы единым музыкальным напором: соседство стихов рудит «тематические» абстракции. В сущности у Цветаевой ни «гражданственности», ни «стилизаций» нет: Стенька Разин и «любви старинные туманы» для нее так же реальны (то есть поэтичны), как и добровольческая армия. Не менее резонно решение составителей перемежать «завершенные» стихи «неоконченными». Статус «завершенности» (и даже «возможной завершенности») цветаевского текста в высшей степени проблематичен: захлеб иных созданий на «холостой» строке — больше чем «прием». (Характерный, возможно, сознательно автоматизированный случай — концовка «Поэмы воздуха»: «...Предел? — Осиль!// В час, когда готический// Храм нагонит шпиль// Собственный — и вычислив// Все, — коргорты числ!// В час, когда готический// Шпиль нагонит смысл// Собственный...») Ценителям феномена «книга поэта» стоит помнить: в такой — хронологически ориентированной и не отвергающей «фрагментов» — композиции к нам, как правило, приходит лирика Пушкина.

Некоторые снятые Цветаевой строфы печатаются в комментариях. Появление их достаточно произвольно — иначе без систематического обследования засекреченных рукописей, видимо, и быть не могло. Кстати, допущенная на рукописях Е. Б. Коркина не явила особенной роскоши при подаче вариантов в томе Большой серии «Библиотеки поэта» (Л., 1990). Но

вот что могло, мягко говоря, быть, так это указания на первопубликации. Их отсутствие, не слишком существенное (предположим!) для любителя стихов, ставит профессионального гуманитария в дурацкое положение: он вынужден обращаться к изданиям предшествующим либо проводить самостоятельные разыскания. У специалиста по Цветаевой есть своя картотека. Ну а какво исследователям Пастернака, пражской культурной среды, евразийства? Да мало ли кому еще могут понадобиться сии элементарные сведения! Того страннее с поэтическими переводами, выделенными в особый раздел (что при общей составительской стратегии выглядит спорно), — тут даже дат под текстами нет! Как нет и совершенно необходимых комментаторских справок о внешних обстоятельствах, заставивших Цветаеву взяться, скажем, за переложения Ондры Лысогорского, попавшего в оглавлении под невообразимую рубрику «Из чехословацкой поэзии».



РОСЛИН НЕВЕР

В третьем томе (поэмы, драматургия) комментаторы на первопубликации указывают, но почему-то оставляют прежние принципы. От «поэм» собственно отрезаются «поэмы-сказки» («Царь-девица», «Переулочки», «Молодец» в прежних изданиях, осуществленных А. Саакянц, спокойно уживались с «Поэмой горы» или «Крысловом»), а в «приложение» ушли «Егорушка», «Несбывшаяся поэма», «Певница», «Автобус», «Поэма о Царской Семье» и «Пьеса о Мэри». Видимо, по мнению составителей, «незавершенность» в больших формах сказывается иначе, чем в малых. Сомнительно. Но в таком случае почему «Сибирь» (первоначальный пролог к «Поэме о Царской Семье») помещается в основном корпусе? Если это самостоятельная вещь, то место ей среди стихотворений, если фрагмент, — то рядом с незаконченной «Поэмой...» Проблематичность текстологии «Автобуса» (до обращения к архиву неразрешимая) — слабое основание для перемещения в appendix этой якобы не завершенной вещи. «Автобус», да, пожалуй, и «Певница», — не менее свершившиеся поэмы, чем «Перекоп». «Последнего Перекопа не написала», — начало цветаевского постскриптума свидетельствует не только о фальшивом, но и о смысловом обрыве шедлера. Кстати, финальную просьбу из пометок к поэме издателям стоило бы уважить: «Если когда-нибудь — хоть через сто лет — будет печататься, прошу печатать по старой орфографии». Увы.

Путаница нарастает при переходе к прозе (тт. 4, 5). В один вошли «воспомина-

ния о современниках», «дневниковая проза», достигаемые фрагменты записных книжек, ответы на анкеты и интервью; в другой — автобиографическая проза, статьи и переводы: роман Анны де Ноай «Новое упование» и письма Рильке, загадочно отделившиеся от статьи «Несколько писем Райнера Мария Рильке», вместе с коей они печатались в пражском журнале «Воля России» в 1929 году. К сожалению, это не последняя странность: по разным разделам (и даже томам) расплодилось «Наталья Гончарова» (как бы мемуар), «Мой Пушкин» (как бы автобиографическое), «Пушкин и Пугачев» (как бы статья). Любому читателю Цветаевой понятно, что в «волошинском» эссе «Живое о живом» размышлений о поэзии (и бытии) не меньше, чем воспоминаний о поэте, что «Герой труда» говорит не только о Брюсове, но и о жизненных обстоятельствах, творческих, духовных, человеческих установках Цветаевой не меньше, чем автобиографические опыты, что «Черт» написан не про одно только детство, а рифмуемая с этим рассказом статья «Два «Лесных Царя» — не токмо про стихи Гете и Жуковского. Цветаева знала, что есть две Натальи Гончаровых, но писать об одной (одну) для нее значило писать о другой (другую). Или, как справедливо замечено Анной Саакянц, «проза Марины Цветаевой (вплоть до заметок на полях) стала ее главной книгой бытия, в которой она все сама о себе сказала». Книгу эту не стоило расплетать и в надуманном порядке складывать заново.

Переплетная метафора становится руководством к действию, когда берешься за последние тома — уникальное собрание писем, расскассированных по адресатам. Такое бывало: например, в худлитовской серии «Переписка русских писателей». Но там, во-первых, мы имели дело с эпистолярным двусторонним (каждый блок — цельный сюжет), во-вторых же, те книги приходили к читателю после нормального (то есть хронологического) издания писем того или иного классика. Причудливое решение Льва Мнухина бьет в первую очередь по читателю обычному, ищущему в письмах хронику, историю жизни, страстей, душевных движений, но обреченному на постоянные прыжки по разным годам, странам и контекстам. Остается, как советовал мне один постоянный автор нашей страницы, купить по два экземпляра шестого и седьмого томов и вооружиться клеем да ножницами.

Намеренно обхожу вопрос об уровне комментария. Какое-то количество реалий (биографических и «книжных») разъяснено, какие-то составительские наблюдения над многочисленными смысловыми перекрестками зафиксированы, но организующей концепцией даже не пахнет. Это не вина Анны Саакянц и Льва Мнухина, но отражение имеющейся научной ситуации, в свою очередь отражающей горькую посмертную судьбу поэзии и прозы Цветаевой. Легко вошедшая в массовое сознание несколькими лирическими текстами, «освоенная» шестидесятилетней средой, задрапированная свежими мифологемами, Цветаева, к сожалению, не была до сих пор прочитана с той серьезностью и ответственностью, что окрасили восприятие Ахматовой, Пастернака и Мандельштама. Заблуждений, мифотворчества и конъюнктуры хватило (хватает) и на них, но то — болезненное искривление сильной традиции (не только, а может, и не столько филологической). Осмысление Цветаевой как великого поэта (при всем уважении ко многим отечественным и зарубежным специалистам, решившим множество важных частных вопросов) — дело будущего. Долгая и напряженная работа создателей семитомника все предварительные итоги подвела и возможные индальгенции ликвидировала.